

## ЗВОН СЕРЕБРИСТЫЙ ЗНАКОМЫХ КОЛЕЦ

«Все те поэты, кто знал меня, написали свои лучшие стихи тогда, когда близко дружили со мной, тесно общались...» – говорила Лена. Это было сказано один раз, но я запомнил.

И не проверял её наблюдение по книгам, датам и именам. Хотя это ничего не стоит сделать, стоит снять с полки книги С., К. или П., или еще кого-то - и посмотреть на даты, сопоставить. Но тогда я задумался о себе и решил, что хватит и того, что я сам – наглядное опровержение её слов. Погоревал, конечно...

Вот другое «мифологическое» утверждение Лены было проверено. Она писала об этой странной особенности – о том, что в её стихах можно найти любое слово или понятие, или хотя бы слово того же ряда, что искомое. Однажды она сыграла со мной в эту игру. У неё дома, наяву.

«Бегемот!»

Лена мгновенно нашла в памяти «гиппопотама» в «Простых стихах для себя и для Бога», не заглядывая в книжку.

Что бы такое бы коварней ввернуть, думаю?..

«Пюпитр!»

Она подумала и вспомнила что-то вроде «нотного листа», «дирижерской палочки» или чего-то в этом роде.

И третий раз закинул старик невод и выловил рыбку.

Ну, это убедило. Есть такое свойство её стихотворений. Хотя, как она сама печатно заметила, неизвестно, что следует об этом думать. И является ли оно достоинством или бесполезным параметром. Есть в мире великая поэзия, не имеющая такого свойства.

(«Пюпитр» у Шварц потом возник, после той игры. В прозе, где-то в «Видимой стороне жизни».)

Я-то думаю, что это качество её поэзии – некий аллегорический указатель с невидимой надписью «универсальность». С отчасти шуточной надписью.

(Нечто подобное есть в Пушкине, как Юрьев заметил. В Пушкине можно найти любого, имеющего свое лицо, писателя или поэта, писавшего на русском языке. Хоть строчкой, хоть стилистическим оттенком, хоть интонацией – но каждый там есть. «Гости съезжались на дачу» - Лев Толстой, «Экое кири куку!» - Хармс, и далее везде. Тоже, в сущности, бесполезное свойство, но «говорящее» любому уму – прямо, без намеков.)

Однажды, с подачи Лены прочитал книгу Наума Берковского о немецких романтиках. Я-то помнил Берковского только по его рапповскому выступлению, невольно погубившему писателя Добычина. Оказывается, всё сложилось непредсказуемее и парадоксальней. Лена назвала Берковского гениальным, и отступить было некуда.

Книга, действительно, оказалась гениальной, автор – проницателен, стремителен, вездесущ. У него было развернутое соображение о романтизме – что вся жизнь является музыкой и текстом. И сами произведения, и всё остальное – письма, разговоры, ритмы и рифмы биографии, воспоминания, предчувствия... Меня это тем более поразило, что незадолго до этого я своей рукой написал в «Дальнем плане»:

*«...Едешь в поезде, думаешь о своем, иногда к разговору прислушаешься, порой в окно взглянешь, в книгу. Между строчками – вздох времени и пространства. Фон, шум, а на самом деле – музыка существования. Подспудные лейтмотивы жизни, рифмы событий и впечатлений. Такие книги складываются на слух, на ощупь. Так мычат про себя, подбирая к словам мелодию...»*

Теперь я думаю, что мне Лена так и виделась, и видится до сих пор, одним непрерывным сюжетом, в котором стихи, проза, письма, встречи, слова, сплетни, взгляд, ландшафт, улицы, времена года и т.д. – штрихи общей картины, музыкальные ноты, буквы одной книги.

Меня удивляло, до какой степени для Лены были важны её стихотворения и до какой степени было неважно всё остальное. Удивляло, потому что для меня это было не так. Не то, что бы я не отдавал себе отчет, что Елена Шварц для того и рождена в мир, чтобы оставить в нем стихи, в этом её призвание.

Но я ценил, читал, берег, запоминал с хищным каким-то благоговением любую её личную записку, поступок, вещь, вздох – так же, как её стихи. Или как те цитаты из чужих стихотворений, когда она их приводила в разговоре. В этом не было с моей стороны одержимости или безумия в прямом или косвенном смысле – в этом было и есть что-то вроде проживания некоторой области чужой жизни одновременно со своей. Именно так я проживал параллельно своей жизни жизнь сына, вырослел с ним, открывал мир, рос, менялся, писал об этом стихи, некоторые как бы даже от его лица, из его ежеминутно нового опыта. Так же вошел в мою жизнь Пушкин, прочитанный неоднократно насквозь, – вплоть до долговых расписок, знакомый вплоть до ножики для очинки перьев. Вся эта история закончилась вчитыванием в «Летопись жизни Пушкина», в четырехтомник, во всю его жизнь - день за днем. И к его стихам я обращался всю жизнь даже реже, чем к письмам, чем к отрывкам из дневника. Как догадываюсь, в Пушкине и во всем, связанном с ним, не было ничего, что бы его не выражало, не было бы не наэлектризованно «пушкинской» субстанцией, непрерывной гениальностью творческого духа или талантом обстоятельств. В некоем смысле я прожил рядом со своею жизнью жизнь Пушкина, жизнь точную, наполненную, собранную - как собраны перья в птичье крыло.

Почему Пушкин?.. Из-за отца. Отец читал Пушкина так, как уходят в свой личный рай, перебирают сокровище. Вынимая на свет то одну, то другую драгоценность.

*«...Но жизнь всё еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо.*

*Вздор, душа моя; не хандри — холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы...»*

Или:

*«...Какая ты дура, мой ангел...»*

Эти, и подобные им, пушкинские строки – для меня навсегда остались отцовскими, намоленным его наследством. Я восхищался отцом, хотел быть таким, как он, это не получилось. Но «пушкина» не расплескал, нет.

Почему еще шварцевский текст непрерывен – потому что он письменный на три четверти, прошёл через щепоть и авторучку, сквозь пятерню и клавиатуру. Начался с бумажного письма и закончился электронным. Бумажные письма Лены – я это скоро почувствовал после начала переписки – для меня стали чем-то подобным письмам Цветаевой. Подобны не тоном, не содержанием, а тем, как к ним относился адресат. Тем письмам, которые во время войны потеряла знакомая Пастернака – некая сотрудница музея Скрябина.

Первое посвящение Лене, 2004-го года, и получилось о письмах. Я долго был не в силах написать стихи о ней самой, хотя статьи мог, и написал, и уже напечатал две. Но стихи пришли в обход, стали сами письмом, не столько даже отправленным, сколько полученным.

## *ПИСЬМА*

*Елене Шварц*

*Их сорок или пятьдесят,  
Моих последних истин,  
Уж им морозы не грозят –  
Живым цветам и листьям.*

*Хранятся дома и в тепле  
Души черты и знаки –  
Заветной стопкою в столе  
Исписанной бумаги.*

*Они пришли почти с Луны –  
Сигналы о спасенье,*

*С далекой призрачной войны  
Скупые донесенья.*

*Они пришли ко мне за мной –  
Стихи и почерк странный  
И легкий запах неземной,  
Родной и иностранный.*

*Там на Луне, на небесах  
Они – в краю свободы  
И перевесят на весах  
Врозь прожитые годы.*

*Быть может в миг, что упадет  
От мира независим –  
Последней луковкой пойдет  
Вот эта связка писем.*

*А все, что было наяву,  
Не стоит строчки чудной,  
И сладко я при ней живу  
Собакою приبلудной.*

*О письма – незарытый клад,  
Сокровище и тайна,  
На адрес мой в мой тихий ад  
Отправленный случайно.*

2004

И вещь эта, как губка, вобрала в себя что-то отдаленно похожее на то, что составляет духовную личность Елены Шварц. Володя Каденко, впервые услышав эти стихи, тут же тревожно спросил: «Что случилось с Леной?» Потусторонность почувствовал, неземную бездну.

Строцев делал фестиваль в Минске, в начале лета 95-го. Съехались несколько поэтов, бардов, приехала Аня Великанова – что-то о богословии прочитать. Все знакомились по разному. Злата Коцич, узнав, что мы песенки поем, чуть ли не сразу запела черногорскую песню про девушку и кувшин – громко и чисто. Аня, разлетевшись размашистой мальчишеской походкой, протянула руку и воскликнула: «Анюта!» Глаза сверкают, улыбается – словно сто лет как не видалась и соскучилась. И мне так и показалось сразу – без Ани жизнь была скучнее, повеселей стало жить.

Сидим на кухне, чай пьем. Бережков, Каденко, я. Свои локальные разговоры разговариваем про общих знакомых, про концерты и т.д. Лена Шварц должна приехать из Питера, как приедет - все вместе в пансионат перемещаться будем, на реку Исlochь, будем там жить.

Перед этой первой встречей я на всякий случай внутренне ошетинился. Ну, на всякий неизвестный случай – если что-то хорошее или дурное вдруг произойдет, чтобы не застало врасплох.

Вошла маленькая женщина в джинсовом костюмчике, изящная как статуэтка или шекспировский паж, чуть седеющая, собранная, с быстрым взглядом из-под челки. Губы словно воспалены - так, как у демона и у девочек на картинах Врубеля.

Пошел быстрый перекрестный разговор, прощупывание друг друга. Узнав, что Каденко из Киева, заговорила о Джеджуле, о его потомках. Володя кого-то знал из них, то ли сына Джеджулы – журналиста, то ли еще кого. Из чего я навсегда сделал вывод, что он вообще-то существовал, тот самый Андрей Джеджула, которого Лена считала своим отцом и которого никогда не видела.

Далее следует ряд вспышек памяти вразнобой. То есть я-то помню вообще всё, что было на том фестивале, но вспоминать всё подряд - будет невыразительно, рутинно, Шварц бы не понравилось. Пусть уж лучше фонарь памяти мечется наугад.

Вот мы идем гулять в лес и на речку. Бережков разговорился с Златой, я с Леной. Злата гуляет так – убегает быстро вперед, там сочиняет строчку нового стихотворения, записывает и дожидается нас. Потом опять убегает

вперед и т.д. Шварц со странной улыбкой негоромко говорит сама себе:  
«Много кого встречала за жизнь, но что б так стихи писали... впервые вижу..»  
Выпили по дороге бутылку белого сухого вина, подошли к реке, надо  
переходить вброд. Мне глубина по бёдра, Лене – явно по пояс, если не выше.  
Как мне показалось с берега. Предложил взять на закорки, перенести.

*...Не так — испуганно в глаза  
Взглянула бабочка-оса,  
Не так — потом вздохнула  
И, улыбнувшись, Христофор  
Шепнула тихо и на спор  
Ручей перепорхнула...*

То есть подобрала подол голубоватого платья и перебежала по камешкам.

Мне пришлось перейти, перебрести налегке. И вода мне была - как и  
предполагал – намного выше колен.

После концерта стоим у зала, курим. Только что Бережков пел песни на  
стихи Губанова, начала 60-х. «Эта женщина...», «Серый конь...» и другие.  
Выходит Володя, Лена говорит нам: «Странно, ранние стихи Губанова,  
оказывается, совсем простые. Элементарные в интеллектуальном смысле...»  
Бережков пожимает плечами: «Оно может и так. Но мне до сих пор – в  
кайф!»

В городе большой жар. В пансионате-то это не заметно - в тени деревьев, у  
воды.

Вечером возвращается Дима Строцев, сам не свой от забот и недосыпа, и  
произносит в пространство:

«В аудитории душно, окна не откроешь надолго – тополиный пух, сегодня  
Злата читала, сократили время до получаса. Елена Андреевна, завтра не  
больше 35-ти минут читайте, пожалуйста...»

Лена, не переменившись в лице, закуривает.

«Знаете, раз уж такие сложности, то зачем людей мучить - я не буду завтра  
читать.»

И – всё.

И – не читала.

Она переживала потом, что так сказала. Но взять слово назад не считала возможным. Вот что она писала в письме:

*«...Поездку в Минск я вспоминала как кошмар и наваждение, еще ни разу в жизни не было такого, чтобы я не пришла на свое же чтение, но это было правильно...»*

Поездка не была кошмаром, конечно. Наваждением было то, что Строцев, не предвидя последствий, подумал вслух, и то, что Лена поспешно ответила. Дима заплатил всем гонорар, и Лене тоже. Побродили по Минску, сели перекурить на какой-то небольшой площади, на скамейке в тени. Кто-то из минчан вдруг сказал, что там, где мы сейчас сидим, казнили евреев в 41-м году.

«И надо же было мне полдня ходить по городу, чтобы в конце концов выбрать именно это место - передохнуть... - говорит Лена. – Но со мной – только так и бывает.»

Последнее самонаблюдение потом подтверждалось несколько раз. Вот отрывок из письма про музей пыток:

*«...Два дня одна бродила по Амстердаму, зашла в казино и проиграла, еще в музей пыток зачем-то заходила, может, потому что он ночью работает, видела там гильотину и вспоминала, конечно "минуточку, одну только минуточку" мадмуазель Дюбарри, кажется. Ночью же каталась на колесе обозрения, когда оно замирало и вздрагивало на самом верху - это было здорово - и весь ночной Амстердам внизу, было полнолуние, колесо будто катилось к луне, срезанной облаком ровно напополам...»*

Или о Павле:

*«...когда мы с ней встретились в Михайловском замке в мастерской одного художника, почти на месте убийства Павла...»*



Или в стихах:

*СЛУЧАЙ У ПАМЯТНИКА ДЖОРДАНО БРУНО \**

*Чавкающий белый мяч футбольный  
Мне влетил мальчишка в лоб случайно.  
Не упав, я молча отвернулась  
И увидела костер Джордано Бруно.  
Фурии и змеи мне шептали  
В миг почти ослепшие глаза:  
«Не гуляй там, где святых сжигали.  
Многим можно, а иным нельзя».*

---

(\*) Этот случай может показаться, да и есть на самом деле, смешным и нелепым. Но стоит вспомнить Монтеня, который рассказывает о своем брате Сен-Мартене, неожиданно скончавшемся через шесть часов после того, как мяч случайно ушиб ему голову над правым ухом. (Е.Ш.)

И ещё вот что было тогда. Дима снимал документальный фильм о Вениамине Блаженном. Хотел снять диалог Елены Шварц и старика. Дома, Блаженный никуда не выходил.

Лена отказалась. Не знаю, что она сказала Строцеву, а мне:

«Это будет нарочито. Один «духовный поэт» сидит против другого «духовного поэта» и оба чай пьют, это уже смешно...»

Хотя к стихам Вениамина – или к нему самому, как к дитя Божьему, - относилась всерьез, я знал. Она экивоком раз намекнула, потом, уже на Красноармейской.

Лена вообще не снималась ни в каких телепередачах. Чуть не единственное короткое телеинтервью она дала в Москве в музее Маяковского, после своего выступления. И на вопрос – отчего её никогда не видно ни на каких литературных «тусовках»? - Лена, усмехнувшись, ответила буквально: «Я всё это презираю.»

«Да» она говорила не реже, чем «нет». Но «нет» - дольше помнится.

«Ощетинился»-то почему... Лет за пять я впервые увидел её, на фотографии. В небольшой книге, одной из её первых на родине, был напечатан портрет. Девочка глядела из-под чёлки, словно исподлобья, - прямо в глаза. Я жил за городом, побежал к приятелю, показал страницу и мы замолчали. Колыхалась листва, где-то брехал пёс, медленно клубились облака. Захар, почесывая рыжую бородку, переминался и моргал, что-то вспоминая.

Потом уж всплыли знакомые слова, какие нам тогда не вспомнились:

*«...а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасено!..»*

Через двадцать лет после немой сцены Лена написала в письме:

*«...Знаю только, что с детства он - мой самый любимый и родной писатель...»*

И еще через два года выпал на бумагу стишок, как снежок:

## *ЛИЦО*

*Достоевский мальчик белокурый  
Тихо улыбается. Состав  
Лязгает. В углу брюнет под шкурой  
Спит, устав.*

*За окном проносится природа,  
Дым, пригорки, белая коза.  
Роковая девочка на фото  
Щурит гордые глаза.*

*Звон ключей услышу и сиротский  
Перестук железный без конца,  
Взгляд не отрывая идиотский  
От её прекрасного лица.*

21.07.11

В глаза Лена – в жизни – долго не глядела, остро пронзит и быстро чуть вскользь. Даже не сразу вспомню цвет радужки – зеленый, карий... Взгляд обжигался вещами и существами мира, и сам мог обжечь. Глянет пристально на птичку – та упадет, посмотрит твердо на стакан – он и расколется. (Если верить тому, что она в прозе написала.) Но я видел и другое – как она с откровенным обожанием смотрела на Хокку, на возлюбленного японского хина, с легкой печалью - на осыпающийся летний театр в зимнем сквере, задумчиво – на воду, на падающий снег.

Только один раз Лена неотрывно взглянула на меня.

Сидим за столом, напротив друг друга.

На мосту – вспоминает – в ветренный промозглый день заметила бездомного щенка, подобрала, принесла домой, привела в божеский вид и настроение, и – отдала в человеческие руки, новым хозяевам.

Уж не помню, как я посмотрел или какое изобразил междометие, - но Лена внезапно, не двинувшись с места, словно полетела навстречу.

«Но Вы сами! ВЫ, ВЫ! – неужели бы прошли мимо? Неужели бы смогли пройти, не взять замерзающего щенка?! Он же звал на помощь, скулил!..» - быстро, взлетающей интонаций, восклицала она. И глядела, глядела прямо в глаза, то в один, то в другой, и в какую-то искомую мерцающую точку, туда - глубже глаз, где я, крохотный, сутуло бреду по игрушечному мосту и подбираю жалкое существо, или не подбираю...

Но я так и не узнал – остановился ли?.. прошёл ли мимо?..

Вспомнилось.

Была у меня песенка лет тридцать назад, а в ней пара строк:

*...Подбираю слова, как бездомных котят,  
Во дворах, пока мертвые спят до утра...*

На концерте в Доме пионеров на Ленинских горах (о да!), после песен, некое дитя из зала – на предложение задавать вопросы – задало-таки вопрос:

«А сами-то Вы подбираете бездомных котят и щенков?»

Оцепенев на несколько секунд, я проклял про себя литературный прием «сравнение», рифму «летят-котят» и свой длинный язык. Аркаша Смирнов, который выступал в тот день со мной на пару, нашелся:

«Дядя днем работает, вечером учится, поэтому возвращается домой поздно, когда всех бездомных котят и щенков уже разобрали по домам.»

Родители бодро заёрзали, дети недовольно вздохнули, я был спасен.

Потом стал осторожнее с метафорами, по возможности, конечно.

А ведь Лена запомнила тот первый день. Одна из книг, «Люция ночи», подписана так:

*«...на память о переправе через Исlochь  
и с симпатией более глубокой, чем эта река.*

*3 июня 95*

*Лена Шварц»*

И в одном из последних писем, в ответ на стихотворение:

*«...и сразу вспомнился живо тот день, и Христофору нашлось место...»*

*(24 февраля 2010)*

За какую нитку не потяни – всё равно заденешь целое, что ни тронь – зазвенит всё. Хоть её строчку, хоть Псалом Давидов, хоть световой блик на кончике иглы. Обшарпанную дверь булочной... желто-коричневый неровный камень на Виа Долороза... школьное окно 60-х... звезду, отраженную в море... Какое слово ни назови, какую вещь ни вспомни – всё окажется вплетено в ковер, ходит в кругу её поэзии, близко или отдаленно связано с «Еленой Шварц».

Тоже отблеск той особенности её стихотворений, или второе, расширенное, её издание.

Лена и говорила, и писала, что с раннего детства чувствовала свою избранность, единственность – то, что она любимое создание Бога (даже еще тогда, когда в Бога не верила, и стихов еще не писала). Настаивала, что поэту всё дается – гений, талант – сразу, полной мерой (или никогда). В первую очередь имела в виду себя, но и при каждом удобном случае напоминала, в статье о Тютчева, например. Находила письменно и вслух подтверждения своей исключительности, цитировала печатные и устные высказывания о себе, разной степени восхищения. Говорила, что она – вообще последний поэт, что уже не будет поэзии после неё (или будет, но через века), что ей последней удалось на русском языке создать новую музыку и свой мир. Мне, пишущему в рифму и так по-русски, это было выслушивать не больно, но чуть странно, как чудачество. Ну, и играла немного, всерьез и в шутку – в невероятные совпадения, в мистические намеки, в предопределения, в особые обстоятельства рождения и жизни, в готику и алхимию. Подчеркивала свою чувствительность, низкий болевой порог. Когда горе ударило по-настоящему, смирила превосходную степень до обыкновенной, «это... иллюзия». Наверное, вспомнила, пока писала письмо, что у меня за год до этого умер отец.

*«...Когда-то в Лавинии я написала: "никто Тебя так не любил, /никто,никто,Ты веришь, Боже?" Теперь мне кажется — никто, никто так не страдал.... Но это, конечно, тоже иллюзия... Во всяком случае, я страшно мучаюсь и скучаю по маме. Не знаю, почему Господь так жесток ко мне...»*

Но когда я читаю, слышу со стороны о нищезанятости, о вычурности, эгоизме, своенравии, о дурном характере Елены Шварц – улыбаюсь про себя. Это вот какое «нищезанятство»:

*«- Как вы прекрасны!  
- Да, правда? - был тихий ответ. - И заметьте, я родилась вместе с солнцем...»*

<.....>

...Скоро оказалось, что красавица горда и обидчива, и Маленький принц совсем с нею измучился. У нее было четыре шипа, и однажды она сказала ему:

- Пусть приходят тигры, не боюсь я их когтей!

- На моей планете тигры не водятся, - возразил Маленький принц. - И потом, тигры не едят траву.

- Я не трава, - обиженно заметил цветок.

- Простите меня...

- Нет, тигры мне не страшны, но я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы?

"Растение, а боится сквозняков... очень странно... - подумал Маленький принц. - Какой трудный характер у этого цветка".

- Когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно. Очень неудобная планета. Там, откуда я прибыла...»

Да она и сама писала о том же, с шуточным гневом:

...Она вбежала, топая, из кухни

Таща макрель на золоченом блюде,

И наступила прямо мне на - тень -

На голову, а после на предплечье!

А тень моя ее дубленой кожи -

Ведь знает же! - болиней и нежней...

(Кинфия)

Или в «Ссоре в парке»:

...- Видите вот эту статую?

Это гипсовая Ночь,

Если ты ее царапнешь,

Из нее сочится кровь.

- Ах, пора уже оставить

Вам готические бредни.

Сколько можно клоунессу

*Из себя изображать?  
Я давно уж удивляюсь,  
Почему вы так уверены,  
Что Господь вам все простит?  
- Просто вы меня не любите,  
Как Господь...*

«Кинфию обидеть очень страшно» - это четыре шипа Лены Шварц, её «пусть приходят тигры».

Она всё о себе знала. Вот всё вот это, что выше названо и много более того, она так или иначе сама отрефлексовала, истолковала, оправдала или осудила – и в стихах, и в прозе. Могла увидеть со стороны и нарисовать себя, внутренне и внешне.

Обыкновенно, если недоволен собой и ловишь себя на том, что в другом бы человеке тебя задело, - стараешься избавиться от этого излишества (или восполнить недостаток), стушевать его, раскаться, очиститься. Порой это перерастает в манию – родиться заново другим человеком. А Лена сделала вот что – она всё, что было ею, не смывая резких черт, – и самое прекрасное, и нестерпимое - принесла в жертву Богу, наполнила Им, направила к Нему. К Богу или – к «богу поэзии». Если бы Жанна не была героиней, визионером, полководцем – сидела бы в доме скорби за фантазии и истерики.

И Елена Шварц была – героиней, визионером, полководцем. Подбадривала, воодушевляла своих генералов и солдат - песней, примером, подвигом. И на знамени – был вышил не её профиль, а лик Бога. Или – хотя бы – «лик поэзии».

Она служила, вот она пишет в письме о переменах, произошедших со старой знакомой, и о себе:

*«...она внутренне переменилась сильнее, чем я, она теперь служит Богу жизнью, молитвой, а я по-прежнему - стихами...»*

Истолковать – порой значит обезвредить, разминировать бомбу. Делая неведомое понятным, порой редуцируешь неопишное, показываешь его

простым, наглядным и терпимым. Но Лену Шварц не обезвредишь, этот провод не обесточишь. Пусть бьет током, ничего...

Повторяю – всё про себя знала, рационально или интуитивно. Бывало, чувствовала себя маршалом несуществующей или разбитой армии. Тогда писались гротески, пародии на себя и на вообще место поэта (или жалобы на его участь) в современном мире – «Попугай в море», «Пение птицы на дне морском», «Жалоба Кинфии», «Ночной бой».

*...Старуха в дудку загудит,  
Растрепанная и нагая,  
Она из пушечки палит,  
В углы стола перебегая...*

Т.е. сама себе и полководец, и войско, и противник, и поле боя.  
Или во «Времяпровождении №4», неожиданно в пандан Поприщину:

*...И так разбросаны повсюду  
Владенья легкие мои:  
Гора под Кельном, храм в Белграде  
И по лицу вся земля.  
Под Лугой - лужа, в Амстердаме  
Мой голубь под мостом гулит.  
Он мой солдат и соглядамай  
На родинке моей земли.  
Да-да-да-да! Я император  
Клочков, разбросанных вдали.*

Так и сама Лена часто была для себя – и летчиком, и маленьким принцем, и розой, и пустыней, и лисом, и змеей...

Было у меня стихотворение о том, как в тумане гномы заблудились и друг друга не найдут.

*...Растерянные бродят мужички,  
То тут, то там кивают колпачки.*



Лена парадоксально прочла стихи как аллегорию того, что её томило:

*«...Стихотворение о гномах - очаровательное, очень милое и вполне адекватно описывает современное состояние поэзии в мире...»*

Вообще вот такие её похвалы того, что я тогда писал, - «мило», «симпатично» - повергали меня в прах. Я чувствовал, что она права, а я неотважен. Но бывали и другие слова в письмах, ещё не то и не так, но и «того» моего покуда не было.

Дину Морисовну я два раза видел, всегда зимой.

И дважды петербургский дом волшебным образом обращался в мизансцену из Диккенса, в лавку древностей и в сверчка на печи.

В комнату вошла особенная такая девочка-бабушка, с тающими снежинками в волосах и с папиросой. Переложив папиросу в левую руку и хрипловато представилась:

«Мамина Лена!»

Я сморгнул, и она тут же переименовала:

«То есть – Ленина мама! – энергично пожала она крохотной ручкой мою ладонь, - Не «Ленина», а вот этой Лены!..»

Было заметно, что там, откуда она пришла, было кучно и весело. Поваяло праздником, иронической бодростью, розыгрышами и всяческой таланливостью, совместимой с жизнью.

Лена готовилась к поездке в Израиль по литературным делам, и началась, или продолжилась семейная пикировка.

Дина Морисовна принесла несколько толстых папок с рукописями.

«Вот это пьесы! Надо передать тому-то и тому-то, в аэропорту Бен-Гурион встретят...»

Лена аж отпрянула, быстро спрятав за спину руки:

«Ещё чего! Не возьму ни за что! Они тяжелые, лучше возьму больше своих книг, отдам продать на выступлении, заработаю что-то...»

Перепахивание друг другу этих папок еще недолго продолжилось, мама взывала к чувству долга перед сценой, дочь отрицала, что должна что-то

сцене, а, если и должна, то только поэзии, наконец старшая Шварц шлепнула стопку на угол стола и ловко удалилась со словами:

«Так как это неизбежно, лучше подумай – как будешь упаковывать!..»

Занавес..

Когда я уже уходил, «бабушка русского банкета» сидела в кресле перед мерцающим телевизором, в накинутом пледе, вязала какой-то бесконечный носок огромными спицами. Дымила папироса, дремала в ногах Мурка.

Вздыхнул я, кивнул на прощанье и вышел в ночь.

Моих-то родителей на свете уже не было, смерть вяжет.

В детстве я знал этот воздух живого искусства, он вливался вместе с отцом, когда он возвращался со студии. Запах красок, бумаги, отзвук шуток, подначек, дуракаваляния. И глубоко серьезного, профессионального отношения к самому несерьезному, что можно вообразить, - к мультипликации для детей.

Там, откуда приходил отец, они все и жили – Джузеппе и Карло, марионетки, Карабас-Барабас, Пащенко, Дежкин, Хитрук, Ваню...

То, что было первым, родительским, образом художества для Лены, - театром, для меня было – анимацией. С потусторонней для зрителя стороны – с производственной, со стороны кулис, коридоров, гримерок, мастерских. Таинственность и обаяние не терялись от этого, но вырастал объем, наполнялся дополнительной драматургией, вторым, закулисным театром для себя, для своих. И я был с рождения свой этому миру, и Лена была своя.

У нас была, при всем человеческом и душевном контрасте, небольшая точка пересечения. Или не такая уж небольшая, как взглянуть.

У обоих матери еврейки, отцы – из казаков.

Детство прошло в коммунальной квартире под жужжание швейной машинки «Зингер», в семье оба были любимчиками.

Так или иначе, но я тоже писал стихи, много лет жил только литературным заработком, или близким к тому – на гонорары от выступлений.

Жили на авось, обходились без службы от звонка до звонка.

Оба заядлые курильщики, хотя в этом я Лене не ровня.

Выпивали не запойно, а в фоновом режиме, вроде аккомпанимента к существованию. (В этом как раз Лена далеко отставала от меня.)

Лена говорила, что у неё есть незаросший родничок, очень важный для мистической чувствительности. У меня такого не было, конечно. Но Лена нашла кое-что другое. Просто так или для какой-то своей игры.

Однажды она спросила, взглянув внимательно на мой лоб, – не было ли у меня в детстве травмы. Я удивился и ответил, что не было, а что случилось, почему вопрос? И Лена сказала, серьезно улыбнувшись, что, когда сверху или косо падает освещение, - то у меня на лбу видна небольшая вмятина. Ровно на том месте, где бывает «третий глаз». Я поизучал потом себя фонарём в зеркале – могло показаться и так, на перекрестке поперечной и вертикальной морщины. Так или иначе, я присвоил себе это открытие Лены. Как некое «море спокойствия», открытое астрономом на Луне.

Время от времени «играла» в меня, словно в театр, как в большую куклу. Наряжала в воображаемый наряд, перемещала в историческую эпоху. Как-то сказала, что примерно так японцы рисовали своих божков и святых, каким меня родители и время нарисовали, - высокий лоб, круглый живот и небольшие ладони.

Или я становился египтянином – в посвящении:

*Мне виделось (в сонном мечтанье?) -  
Я в странном живу городе,  
Там спит у реки египтянин  
В белой ночи стеклянном гробу.  
Я силюсь припомнить имя  
Родного города...*

(Она провела детство в «пирамиде», родилась в «египетском доме» на Каляева. И в одном из последних стихотворений вспоминала «египтянок, портомоек».)

Или в письме поминала иудейство, заочно кому-то возражая:

*«...насчет хасидизма в Ваших стихах - не уверена, скорей, ближе к талмудической традиции, да просто - иудейская мудрость присутствует...»*

Т.е. угодил в талмудисты. А в хасиды нет, не угодил, жаль почему-то.

Очень была рада, что я был когда-то солдатом, и вообще все в роду были солдатами. («Все и почти все дорогие мне люди – либо служили, либо из семей военных!» - говорила. И Лермонтова любила именно за это, за то, что воевал.) И скептически поморщилась, когда я предупредил, что сына отобью от призыва, чего бы это мне ни стоило. Хватит, мол, с Анпиловых. И ведь оказалась права – сын настоял и пошел служить, и браво отслужил.

Она уже об этом не узнала.

После моей первой опубликованной большой статьи в НЛО «Светло-яростная точка» прислала открытку с репродукцией французской, что ли, картинки XIX века – чистенький мальчик, бутуз в белом маскарадном костюмчике держит перед собой черную кошку, подняв за подмышки. Кошка не сопротивляется, но и не сказать, что довольна, просто терпит. И на обороте подписала так:

*«...случайно взяла эту открытку — и подумала, что Вы (как критик) похожи на этого Пьеро, а я — соответственно...»*

По сути эта картинка и подпись – травестированный парафраз её полустихотворения- полупрозы «Музыка» (которое отчасти – и само травестия):

*Еще похожа музыка на то, как бабу пьяную ведут ее два сына, она то в плач, то в смех, то клонится упрямо, они же, опустив глаза, ее ведут – ну, мама, мама...*

*Тот, кто стыдится больше, – тот ум, а другой – чувство. В книге об Инквизиции я видела картинку, как два мужичка ведут под руки одержимую, и это навело меня на мысль о музыке и вообще – о творчестве. Мне во вдохновении часто хочется, чтоб меня поддерживали, чтобы кто-то был рядом, но если б это случилось, оно бы исчезло...*

И вот только что мелькнула мысль, а ведь эта её открытка – рифма к той переправе через белорусскую реку. Не так, так иначе – но это произошло.

Поверила она в детстве:

*«...Мне было лет тринадцать. Я сидела у окна, боком к нему, и вдруг почувствовала, что занавеску как бы пронзил луч и что он вошёл в мой левый висок . <...> Всё в моей жизни сразу переменилось, я стала иначе видеть и понимать, это была как бы нить в невидимое...»*

Со мной это произошло позже, в двадцать три.

*...на авось*

*Вслух прошёптанному след в след  
«Богородице Дево» - как  
Внутри впервые нетварный свет  
Проливался в духовный зрак,  
Сквозняком наполнялась персть  
Пяти чувств по пятам слогам,  
И горчичное в тот кто есть  
Обращалось, в небес орган.*

Она впервые вняла сверхчувственному - виском, я – макушкой. Как бы «обменялись» чувствилищами.

Лена крестилась после смерти матери, в конце 90-х. В сущности, подобная же причина втолкнула меня в храм в конце 70-х. Когда не стало мамы в 75-м – осталась незаживающая рана в сердце, в жизни, в небе. От той же раны – однажды родились первые настоящие стихи, «Чаусы» и последующие.

Если вдуматься, то ведь вся поэзия – «после освенцима», после личного невыносимого опыта, или сверхличного. Лена сказала на вручении премии «Триумф», что для них, ленинградцев, для послевоенной петербургской культуры – опыт блокады стал опытом катастрофы. А для тех, кто сам не пережил её, - генетической катастрофой, родовой памятью и травмой. Для меня таким заочным опытом была насильственная гибель еврейских бабушки и дедушки в Чаусах, в 41-м году. Эпизод холокоста. А Строцев заметил, что вообще вся поэзия и культура – после катастрофы. После падения Адама и изгнания из Рая.

Пожалуй, я здесь и сейчас один раз и навсегда объяснюсь. Отвечу самому себе – почему в тексте так много меня, и не ради ли самого себя пустился в это плаванье.

У меня нет аргументов и доказательств, что не ради себя. Но я чувствую, что это так. Я чувствую и всегда чувствовал, что Елену Шварц не унижало, не обедняло соседство со мной во времени и пространстве, я никогда не посягал на её уникальность и самодостаточность, не пытался обвести одной своей линией её миры, заключить их в клетку дружеского объятья и подправить на свой манер.

«Меня» здесь столько, сколько сама Лена уделила мне внимания в наших прямых отношениях, сколько освободила для меня в них места. В переписке, в разговорах действительных и заочных. Не в обыденной ежедневной материальной жизни, где меня было ничтожно мало. Мы и виделись-то наяву не больше двадцати раз.

И еще, почему приходится совершать отступления в иные мои времена и события, - потому что многое, если не всё, каждый раз подвергалось духовной ревизии, когда я встречался с ней, вспоминал, думал.

Да и в-третьих. Этот текст пишется поверх семи прежних статей и эссе о Шварц – где было не до себя.

Когда Лена повторила, что теперь уже не то, уже она не та, что прежде, и стихи её горят остаточным огнем, тлеющим – (разговор в конце 90-х) – я напомнил, что слышал это несколько лет назад, и что ведь за минувшие годы были написаны стихотворения и поэмы, которые она сама считала важными, новыми для себя и русской поэзии. Не так ли?

Лена задумчиво усмехнулась и сказала вот что:

« Мне когда-то Кривулин то же самое говорил. Мне было двадцать лет и я считала, что всё заканчивается, что вдохновение оставляет меня, – не то, что в восемнадцать. И Витя напомнил, что я и в восемнадцать то же самое говорила...»

Весной 2001-го рискнул я устроить чтение Шварц в музее Маяковского, в Москве. В смысле заполнения зала риск был минимален, и действительно – публика собралась сама, почти без моего участия, тем более интернета у меня тогда не было. По сарафанному радио разнеслось известие - и слушатели пришли.

Риск был, хоть мне он был пока неизвестен. Но я крепко помнил, что произошло в Минске.

Лена приезжала ночным поездом, утром 17-го марта. Собираясь на вокзал, включил «Радио Свобода», и ноги подкосились - умер Виктор Кривулин. И весь день был посвящен тому, чтобы Лене не попала на глаза газета с некрологом, чтобы нигде не было включено радио, чтобы случайно не встретить на улице литературных знакомых. Даже трубку домашнего телефона не поднимал (мобильников у нас не было), на тот случай, если кто-нибудь и вычислит, где Шварц, - и не сообщил ненароком новость. И самому не дать слабину, не показать виду, не проговориться.

Погоуляли, я и не знал, что на Арбате есть музей Андрея Белого. Лена была там тоже впервые, но всё, что видела – знала. И объясняла мне.

Антропософские графики, где Белый разноцветными карандашами вычертил по осям всю свою жизнь, - творческую, духовную, эмоциональную.

Портреты родителей, друзей, деятелей. Рисунки, книги, вещи.

Один раз сняла с полки какую-то символистскую фигурку, повертела и поставила обратно. И надо же - именно в это мгновение в маленький зал вошла служительница и почти упала – как Вы могли, музей, экспонат! Хотел было сказать, что это лауреат *ego* премии, что никто из больших современных поэтов так не любит и не понимает Андрея Белого, как вот эта нарушительница, да махнул рукой. Всё, что ни ляпни, будет нелепо.

«Простите, увлеклись, больше не будем...» - говорю.

Но та кралась и шпионила за нами до самого выхода, потом, проводив, - наверное, вздохнула без облегчения. Снилось, небось, ночами преступная шайка.

Лена прочитала программу, покачиваясь и эвритмически помавая рукой.

Был успех.

Раскланялась, вышла в гримерку. Из зала начали подтягиваться знакомые, вздыхать.

Вошла Ираида Шварцман и с порога резко воскликнула:

«Лена! Витя умер!»

Лена, закрыв руками лицо, упала на пол.

Побыв так не больше минуты, поднялась, вынула из пачки сигарету, закурила.

Лицо было спокойно, бледно и сухо.

Она говорила, что читает стихи эвритмически. Я не точно понимаю, что это такое, как и всю антропософскую науку, а справиться в источниках будет лишним. Довольно и сказанного. Она была похожа и в этом на свои стихи – танцем покачивания и жестикуляции. Артист читает стихи прозаически, поэт завывает, скандирует, «поёт».

А Шварц – восклицала строчки, дионисийски танцевала их. Стихи были полиритмичны, с метрономом не прочтешь, они бежали, прыгали, замирали, бросались в сторону, и всё же удерживали непрерывную рискованную музыку.

И риск был инстинктом и принципом для неё – всегда, во всём. И в сочинении, и в исполнении, и в мышлении, и в жизни. Она испытывала норму на прочность, на истинность – не отвергала с порога, а ставила собой и на себе опыт: «...ужели вправду? Кто доказал?..»

Будь стихи чуть менее талантливы – вся эта сценическая эвритмия могла бы показаться комической. (Как порой Андрей Белый выглядел клоуном на кафедре, по свидетельствам современников, - если отвлечься от гениальности того, что он произносил.)

У Лены есть в воспоминаниях несколько случаев смертельного риска, на который бросал её причудливый нрав. То переберется через балкон и повиснет над бездной. То встанет на самый край крыши испытать судьбу – упадет, не упадет?

Стихотворения и проза её – рискованны насковзь. И духовно, и художественно. Чтобы что-то получилось – надо рискнуть, вызвать огонь на себя, подставить себя неизвестности. «Вкус в поэзии не самое главное. Да и что такое — вкус?» - ответила она, отроду избавленная от «бедствия среднего вкуса», Ахматовой.

Это было заметно даже по мелочам. Она играла порой с «одноруким бандитом» или вот в казино в Амстердаме. Загадывала – не выстроятся ли



птицы крестом в небе? Бывала у гадалки. Та сказала, что рисунка судьбы не видит, а видит вот что – что Лена пожелает, то с ней и будет.

Лена говорила мне, что пожелала себе столько славы, чтобы иметь возможность путешествовать по миру. Это получилось. Или получилось само собой, логикой вещей.

Даже по манере курильщика это было явно заметно. Ни за что не стряхивала пепел с сигареты, пока сам не упадет. Тоже своего рода «стояние на краю», шуточная домашняя «бездна».

А в тире стреляла – я этого не видел, знаю так – без промаха. Не пальба наобум – а навык, трезвый расчет, точный глаз. Это имеет отношение к другому необходимому свойству дара – к «осмотрительности». У нас был короткий обмен письмами на этот счет:

*«...в книжном магазине смотрела книгу Т.Манна - статьи, там об оккультизме что-то не очень интересное и про Гитлера. И в статье про Гитлера определение гениальности - что-то вроде - "осмотрительное сумасшествие"...»*

Я ответил:

*«...Манн ближе к сути дела, чем то, что читано ранее. Гете говорил Эккерману, что гений, кроме таланта, должен получить великое наследство. Приводил пример: Наполеон получил в наследство французскую революцию, а сам Гете (я был поражен) - теорию света Ньютона, что ли. Он, оказывается, себя видел великим учёным, о поэзии ни слова. А В.Одоевский еще проще писал. Гений - кроме само собой понятно чего, должен быть уверен в своих силах и уверен, что может всё выразить своим искусством. Второе всё же еще туда-сюда к делу идет...»*

Вот этот внутренний осмотрительный человек, который сопровождает внутреннего «безумца», - это ум, который «стыдится больше», «два сына», ведущие домой пьяную музыку, это - грамотность, образование и т.д. Вдохновение избирает цель. Осмотрительность, внимание контролируют её неиллюзорность и маршрут.

Н. рассказывал эпизод конца 70-х. После бессонной ночи пошли с Леной прогуляться в парке, Н. был туманен и мечтал о кружке пива. Лена задержалась у тира, взяла духовое ружье, прицелилась и выбила десять из десяти.

Рослый здоровый детина Н. говорил, что сцена была настолько невероятной, что показалась сном. Абсурдом или чудом.

Тоже своего рода аллегория. Лена так и стихи писала, так и жила.

Чуралась слёз до поры до времени. Я-то всё агитировал, писал об этом то так, то сяк – а Лена отнекивалась.

Читаю «Троеручицу» медленным чтением:

*«...подлинность переживания для того, кто знает, что такое молитва — именно "темя" - беззащитность, "детское место" духа. "Опусти" - во влагу — в слезы умиления.*

*Общее движение: от закрытости /футляр/ - к открытости /темя/; от холода /снег/ - к теплу /влага/...»*

Лена отвечает:

*«...Но насчет влаги и слез я не совсем согласна...»*

Всё изменилось в апреле 98-го. Слезы хлынули сквозь стихи, море несчастья дробилось ими, текло слезной рекой, несло на погибель «с гуцулами крошечный плот». (Мне кажется, это кадр из фильма ей вспомнился, из «Белой птицы с черной отметиной», или из чего-то близкого.)

Я никогда не видел и не слышал, чтобы Лена хохотала, ни до, ни после 98-го. Никогда не видел её слёз. Но один раз слышал.

Она позвонила в Москву и сказала, что мама умерла. Она молча плакала, и я, оглушенный, не умел её утешить. Что-то лепетал о том, что мы все однажды встретимся там с теми, кого здесь любили, что это неизбежно надо однажды

пережить, что так всё-таки лучше, чем наоборот, чем когда родители детей хоронят...

«Нет, не лучше! – упрямылась Лена, - Лучше бы я умерла первой!..»

Это поражало, как мало что. Вот такие её утверждения, противоречащие и опыту, и здравому смыслу. Заодно и Пушкину, его словам в письме о старых хрычах и хрычовках.

Я-то был гегельянец, что ли. Понятия о духовном и творческом пути почерпнул у многих учителей, очных и заочных. Дается в руки ниточка, тянешь её и в конце концов вытягиваешь целое, развиваешься, пребываешь в становлении. А Лена писала, что целое дается сразу всё – или никогда. Но этот её единственный голос драгоценен, «шестовский». Он – бродило, закваска, словно весть из мира других свобод и закономерностей. Этого голоса и не может, и не должно быть много – жизнь бы не устояла. Но без него, без возможности иного взгляда на вещи – она обращается в обыденность, в житейскую безблагодатную мудрость: «Позолота сотрется, свиная кожа останется» и т.д.

*Она сказала на прощанье -  
Жить будет не скучно,  
Если каждый день  
Замечать хоть что-то новое.*

*И мне пригодился этот совет,  
Как утренний завет.*

*Весенняя прель в морозном воздухе,  
Шапочка на пробежавшем ребёнке,  
Скошеное облако на закате.  
Или ничего.*

*И порой мне бывало не скучно.  
И день бывал спасён...*

Это действительно был её спасительный совет, на все времена.

Жизнь в её присутствии, в присутствии её стихотворений бывала - необыкновенной, радостной, мучительной, вдохновенной, трагичной, великой. Она не могла быть скучной, инерционной. В юности Лена рушила межчеловеческую и метафизическую скуку скандалом. Что было очень нехорошо, конечно, - ломать стулья, если Александр Македонский герой. Фрейдкин вспоминает, как Лена возмутилась его аппетитом и заклемила «воинствующим гастрономом». Я таких поводов ей не давал, или она не обращала на них внимание.

Но если взгляну в глубину сердца – то «неосмотрительный человек», живущий там, восхищается Еленой Шварц за эту безоглядность и дикость. Не извиняет характер и поступки за талант – а восхищается. Я держал себя в узде, не смел – а она смела.

Петербургский и ленинградский стиль мне был чужд, а именно - иерархия допустимого и недопустимого. Люди богемного питерского круга играли тонкую игру, которую я всерьез не принимал. Допустимо, например, было быть порочным, эгоистичным, беспринципным, но непростительно было не следовать «правилам». Следовало быть на «Вы», не опаздывать, не терять лицо, соблюдать ритуалы, изобретать свои... Какое б ни было человеческое содержание – форма и честь мундира превыше. Порой казалось, что людей держит не позвоночник, а хитин.

*...Держись за пальто из картона,  
Негромко с собой говори.  
Ах, в каждом из граждан кантона  
Подточено что-то внутри...*

Я не считаю, что мифологическая московская бесцеремонность и фамильярность лучше - тем более, что я никак их не проявлял. Впрочем, как не выражал и своего отношения к петербургскому стилю, потому что любил многих тамошних. («Стиль» здесь - не тотальное обобщение, а заостренный вывод из наблюдений. Чаще-то встречались люди тихо надломленные, да виду не подающие.)

Для меня имели значения только прямые, откровенные и сердечные отношения между людьми, только к ним тянулся, только в них бывал самим собой.

Глядя назад, понимаю, что Лене не хватало в воздухе – прямоты, любви, чистоты и бескорыстия, этого было немного в её жизни.

*«...Внутренняя форма стихов может быть предельно простой – как вздох (или выдох). Это труднее всего, таких во всей мировой поэзии считанные, потому что это не выдумаешь. Нарочно не изобретешь и ничего не накрутишь...»*

<.....>

*...Такие простые стихи вообще самые томящие и загадочные...»*

В «Поэтике живого» она пишет так о стихах. Но это сказано и о человеческом, и о духовном...

Лена говорила, что время поэзии и поэтов уходит, ушло. И наступает время толкования. Примерно этим я и занимался в письмах к ней первые годы – толковал её стихи. (Или кратко рецензировал книги других поэтов, которые она мне дарила или присылала.) Потом это переместилось в публичное пространство, в НЛО в рубрике «Критики и лирики» была напечатана моя статья и её стихотворная подборка.

Для меня реакция на критические тексты, на эссеистику - со стороны Шварц и вообще со стороны Петербурга – была удивительна. Я почти не пользовался принятой в ученом кругу терминологией и методологией, не принадлежал ни к какой литературной партии, не строил критическую карьеру. Но он и оказался тогда долгожданен и необходим - назамутненный взгляд и дружеское плечо – и чтоб со стороны.

Тексты стали появляться одновременно со статьями Николая Славянского, случайно совпало, я его не знал. Тот был охотник за головами, возмутитель и обличитель. Для него все короли были полуголые. Если я раз за разом искал и находил луковку, которая спасает поэта, - то Славянский искал и безошибочно находил в поэтах такую антилуковку, которая их губит.

Но Лена проницательно заметила, что и такая аспидная критика необходима, как щука в реке.

Он бывал у нее дома, звонил и писал. История с ним имела сюжет, но не имела завершения.

*«...Николая Серг./Славянского - А.А./ статью я не читала. Он мне о ней написал и предупредил, что обо мне он тоже почти уже статью закончил и только не хватает последних моих стихов, чтобы окончательно со мной разобраться, и просит прислать последнюю книжку, все в довольно нахальном тоне и с нехорошим намеком, что если я пришлю книжку - это как-то облегчит мою участь и приговор. Я, конечно, не послала и даже на письмо не ответила. Я его вообще не боюсь, даже если б он все-таки не относился ко мне лучше, чем к остальным, о ком писал. Потом он позвонил и опять намекал, чтобы я ему прислала книжку, я ему отчетливо сказала, что она в Москве продается. "Ну тогда я ее приобрету," - сказал он. Он собирается в Петербург в конце июня и хочет со мной познакомиться. Не знаю, что из этого получится. Я, впрочем, считаю, что он человек одаренный, и что вообще аспидная критика тоже нужна. Наряду с объясняющей публике поэта - ее тоже почти нет...»*

*«...Со Славянским встреча была долгой, но сумбурной. Он хотел теперь писать обо мне и даже уже что-то написал, но нуждался в моей последней книге, чтобы все это завершить. Пока что он плотоядно вцепился в Кушнера, который, правда, наивно думая, что раз Ник. Серг. ругает Бродского и Седакову, то очень любит Кушнера, позвонил ему, рассыпаясь в комплиментах. Ник. Серг. пристально него взгляделся, облизнулся... Но, правда, он сомневается, что "Новый мир" это напечатает, я тоже сомневаюсь. Меня он трактует как поэта в своем роде "небывалого" и говорящего о том, о чем никто и не думал, по его словам, но крайне неровного и к тому же, не имеющего чувства юмора. Когда он это сказал, мне сразу стало неинтересно, потому что это очевидная слепота...»*

Текст про Лену не опубликован - наверное, автор всё же сообразил, что юмор Шварц или его отсутствие на антилуковку не тянут. Тем более, что юмор был, и был мной описан в общих чертах:

*«...Мандельштам удивлялся: зачем специально шутить, когда и так все смешно? В поэзии Елены Шварц нет отдельно выраженной комической темы. Смешное в ее стихах неразрывно с ужасным или с лирическим. Это скорее не юмор, а инстинктивность, естественность поэтической повадки, своего рода «невинность» обращения со словом:*

*И мы рычим и мы клокочем.  
Платок накинут — замолчим.*

*или*

*...Бочонком выпятив живот,  
Невеста гонится за мною...*

*или*

*...Посмотрим — когти чьи острее,  
Противней голос...*

*(Стихотворение о любви, между прочим...)*

*Такая органика была у Хлебникова. Заболоцкий в «Столбцах» подшучивал, чувствуете, уже немного нарочно...»*

*А.Анпилов «Светло-яростная точка»*

Когда писал первую статью о Лене, я отдавал себе отчет, что именно сейчас совершаю безвозвратный выбор – решаюсь на то, что Лена никогда обо мне не напишет публично, ни рецензию, ни предисловие, ничего. Потому что «взаимное опыление» - не в добрых нравах литературы.

Но - никогда не говори никогда.

Несколько лет я не смел признаться, что умолчал тогда, в день концерта, о смерти Кривулина. Однажды сказал честно про всё, надеясь, что повинную голову не секут.

Лена пожала плечами, подумала и ответила, что это ничего, наверное, так было правильно. Что не поручилась тогда бы за себя. И вспомнила - видела, как в зале Ира Шварцман всё тянется вперед к сцене, словно хочет что-то немедленно сказать, и всё выступление гадала – что же именно?..

Повелось так: она – поэт, медиум, я – толмач, провожатый и «свет мой зеркальце», которое какую-нибудь правду да скажет.

В её универсальности были лакуны, силой обстоятельств - она не знала отца, не знала материнства. Опыта полноты земной участи, семейного библейского духа нет и в её поэзии. Но так или иначе – он был в моей жизни, во мне, он был и в моих стихах, песенках и рассказах.

Я её спросил как-то – не писала ли она когда-нибудь «детские» стихи? А Лена улыбнулась – да зачем? У меня и так все стихи детские...

Между нами был достаточный контраст, творческий и личностный перепад, чтобы можно было стать некоторой опорой и зеркалом друг другу. Цыган не станет претендовать на место медведя. А чтобы наоборот – мне в голову и в сердце не приходило.

Я старался держаться освещенной стороны улицы, больше всего любил солнце, декларировал, что «если Бог за нас, то кто может быть против». И Лена к этому тянулась из тени, я чувствовал. И даже расстояние между городами, как ни странно, было во благо дальней дружбе.

Мы не поссорились - ни разу.

Но меня-то влекло к ней, в тектонические просторы, к «родимому хаосу» - неудержимо. Он был весь в действии, в становлении, дышал, клубился в ней и в её поэзии, играл, гудел, сиял созвездьями и светилами и – тянул магнитом.

И я первый написал ей первое письмо осенью 96-го года, через полтора года после первой встречи.

И она ответила мгновенно и горячо.

Как её мир притягивал – так порой и отталкивал. Несколько раз – два раза – я покидал Лену, и это моя вина. Причины я не могу объяснить, но вдруг было необходимо войти в свои берега, встать на твердую землю, отойти на



расстояние. Охватывало какое-то духовное и физическое недомогание и – гнало быстро прочь.

Один человек написал о том же – «и я оставил её наедине с её адом».

Другой оставил её вопреки всему возможному, в болезни и в отчаянии:

*«...N.N. создавал какую-то иллюзию неодинокости, довольно наивную. И он не захотел остаться даже на один день – именно когда мне будут делать наркоз и неизвестно, в каком я буду состоянии. Причем еще и врал, что нет билетов и что он бы хотел остаться. И никогда никого в жизни я не просила остаться со мною. Гордая была. А он – христианин, после посещения монастыря повел себя так жестоко...»*

- пишет она в дневнике.

Меня Бог миловал – я дважды покидал Лену в обществе её ближайшей тогда подруги, незадолго до конца праздника встречи, с миром и в равновесии. Но я был и старше, и выносливее тех двоих, бросивших.

Если взглянуть еще пристальней и глубже – то дар дается не за что-то, а просто так, незаслуженно. И дар веры, и художественный талант. Его не зарабатываешь, а получаешь по щедрости и благодати Дающего.

Лена была уверена, что плата взимается с получателя потом - страданиями, потерями, одиночеством.

*«...но я взволнована Вашим таким взлетом и несколько обеспокоена, поскольку дело опасное...»*

- писала она мне в девятом году, и вообще нередко об этом писала.

Я знал эту интуицию. Пару раз – еще в 80-х – когда внезапно выходило стихотворение, явно превышающее возможности пишущего, т.е. мои, - тут же мелькала мысль: «чем же придется за это заплатить?»

И свой персональный «освенцизм», изгнание из рая - переживает каждый. Кто в шесть лет, кто в девять – когда внезапно впервые чувствует, что однажды неотвратно умрет. И в этот миг перестает быть бессмертным.

В любом случае поэзия и вера – после памяти о рае, после катастрофы и знания о неминуемой жертве.

Весна, идем в церковь Михаила Архангела, что на юго-западе Москвы. И Лена читает наизусть псалмы, один на церковно-славянском, потом другой – по-русски. То есть поёт на неизвестный распев, отдается негромкому молитвенному пению.

Прохожих почти нет, на Лене узкое легкое пальто, длинный шарф и большая черная кепка набекрень, скорее берет. («Рихард Вагнер!» - восхитился Леной в берете один знакомый поклонник-меломан, при мне. И непохожа до смешного, а ведь и похожа. Звонком незримых колец...) И что-то изменилось в воздухе и оптике, от пения словно пыльца рассеялась в глазах, посвежело. Потом стишок сложился сам собой.

*Воробушек подстреленный поёт простой псалом.  
Враги живот обстали невиданным числом.  
С рогатиной мальчишка и кот-авессалом.*

*Ребро болит ушибленное, клюв кровоточит.  
Но так он Бога славит, что прах земной трещит.  
Один, один, Владыка, Ты мыщца мне и щит.*

*И стал вдруг сильный ветер как бы от крыльев снов.  
Стал день весенний светел до самых тайных слов.  
И камень-могилёв  
Попал куда не метил.*

Лена вдруг ответила, что концовка зловещая. Я ахнул, хотел было оправдаться, что камень в любом случае в воробьиного Давида не мог попасть, даже наоборот... да оставил это дело. Вспомнил, как Шварц встречу с Ахматовой изобразила.

*«...Я протянула ей несколько перепечатанных на машинке листков, она сразу (естественно) остановила свой взор на стихотворении, посвященном*

*ей, восторженном и нелепом. Там говорилось о том, что за нее и молиться не надо, ангелы и Бог и так знают.*

*“Вы что, призываете не молиться за меня?” — воскликнула она гневно.*

*“Да нет... наоборот”...»*

Ну, и ничего, думаю. Вот оно вернулось когда...

Право́та её подтвердиласть через три года, она лучше поняла стихи, чем тот, кто их записал. И ведь не вслепую же писал, вроде знал, что делаю. Но, оказывается, не знал.

С царем Давидом, с псалмами его – Лена верно чувствовала непрерывную связь. В последние миги жизни над ней читали Псалтырь, не нашелся Молитвослов с молитвой на исход души.

И потом, через год при ремонте, когда вскрыли обои, - оказалось, что комната в начале двадцатых была обклеена (неизвестными бывшими хозяевами) большими листами из служебной церковной книги, из Псалтыри. Лена, оказывается, жила в ковчеге, буквально внутри псалма.

Осенью девятого года, когда ей делали операцию, и это изводило меня - пришли стихи. Я хотел немного помочь ей, подбодрить, отправить в спасительный побег от болезни и смерти. Заклясть рок: «уцелей, уцелей!» И всё равно – на периферии стихотворения остались неконтролируемые области. Стихи сами знают будущее, их не обманешь, не объедешь волевым образом. Так или иначе правда себя скажет.

*В синеве, в синеве легких звездочек стон,  
А в траве-мураве нежных косточек хруст.  
И взошла из-за гор на больной небосклон  
Грозовая звезда, словно Матиас Руст.*

*Он буравит простор, мотылек, мотылек,  
На восток его путь фантастический лег*

*Над лесными клочками полесских границ,  
Под глазными зрачками небесных криниц.*

*Уцелей, уцелей! Встречный ветер сомнет  
Перепонки крыла — не сдавайся, витай —  
Сердце, бейся в крупнице, расточай слова мед,  
Возвращайся, сестрица, в заветный Китай.*

*В полстраны каменеет незыблемый Гарц,  
И луны пламенеет молитвенный кварц,  
И на всех, как пыльца, неотступный закон,  
И сбегают сердца по лучу из окон.*

*Так лети, упирайся, прекрасный беглец,  
На крыло опирайся в воздушной глуши!  
Слышен звон серебристый знакомых колец  
Над вечернею площадью, где ни души.*

6.10.09

Вот эти две строки – «возвращайся в заветный Китай» и «над вечернею площадью, где ни души.» И, если «Китай» еще возможно через «Повесть о лисе» истолковать не потусторонне, а как Ленинград 70-х, то «ни души» - твердо говорит об отсутствии на земле. Я этого не хотел и не сразу почувствовал.

Настолько не почувствовал – что, вопреки всей сложившейся между нами традиции, позвонил и прочитал стихи по телефону. Лена была рада, узнала себя, она обожала легкую авиацию, побег, тайные пересечения границ...

У меня есть перед ней вина, её немного, но она есть.

Это те два раза, когда я ушел раньше, чем встреча окончилась бы сама собой. Когда я второй раз организовал её вечер в Москве – публики пришло меньше, чем в первый раз. Лена сказала, что впервые выступает для столь малочисленной аудитории. Мне было совестно, что я невольно стал причиной её огорчения.

Лена хотела поддержать спектакль Томошевского о Кинфии. Я был в театре, видел – и обещал ей написать о постановке, попробовать напечатать. Но вскоре хлынули бедственные события, положение Лены становилось день ото дня безнадежней – и я не исполнил обещание. Не забыл, а не исполнил. Лена, узнав о болезни, попросила меня сходить к блаженной Матроне, помолиться за здоровье.

*«...А в Матрошу я верю потому еще, что она приснилась своей матери до родов в виде слепой чудесной птицы...»*

Я был в Покровском, очередь к мощам стояла на несколько часов. И я не встал в очередь, побыл рядом с иконой, помолился так. Горячо помолился. Но внутрь не вошёл. А если вошёл бы?..

(Мощи блаженной привезли в Измайловский храм сразу после отпевания Лены. Они кратко встретились, проплывая мимо друг друга в дверях храма. Что это значит, не смею предполагать...)

В последние её месяцы я слишком эгоистично и настойчиво посылал ей новые стихи. Далеко не все из них могли развлечь её или утешить.

И я не поехал в Петербург на отпевание. И мочи не было видеть её неживую. И я решил уже, что приеду на похороны, и приехал потом, через месяц. Но всё равно – это моё малодушие.

Лето 95-го было необычное, зеленое, томительное. Я встретил Лену Шварц, и я не знал, что хочу сделать со своей жизнью, с сочинением стихотворений. Всё словно чуть потеряло устойчивость, физические законы – незыблемость, твердь – безмятежность. Казалось, голубое небо ангел может сдернуть, как скатерть, и откроются звезды.

Приходило в голову неизвестно что, фантастическое. Меня и так всегда клонило ко всякой мистике, суевериям, знакам из потустороннего мира, текстам сверхреальности, написанным вещами, зримой и слышимой жизнью. И сновидениями.

А тут в дачном саду впервые за полвека завелись необыкновенные большие пауки с крестами на спине, крестоносцы.

Начали молча летать странные крупные птицы – сойки, как я потом нашёл в атласе, - низко над травой.

Разумеется, мне в безумном озарении открылось, что это Лена, т.е. её соглядатаи.

Чтобы как-то управится с собой и со всем этим, написал несколько текстов, снижающих, пародирующих мои представления и фантазии.

*В своем саду в вечерний час  
Я вдруг увидел страшный глаз.*

*Он с тонкой ниточки свисал  
И кровь невинную сосал.*

*Среди цветущих длинных трав  
Кружился вечер мотыльком.  
И я молчал, к груди прижав  
Ладонь испуганно... А он –*

*Он шевелил ногами-спичками,  
Как человеческими ресничками.*

*Журчали Клязьма и Ока.  
Шумел камыш, бамбук шуршал.  
Высокий ветер облака  
В спокойном небе разрушал.*

*Подпрыгнув вверх, спустившись вниз,  
Передо мною глаз повис.*

*Взглянул. И, губы как змею  
В улыбку вежливо скривив,  
Он лапкой шапочку свою  
Чуть приподнял, заговорив и т.д.*

«Научный глаз» - это ведь пародия на «Подражание Буало», на:

*...Поэт есть глаз, — узнаешь ты потом, —*

*мгновенье связанный с ревущим Божеством .*

*Глаз выданный — на ниточке кровавой,  
на миг вместивший мира боль и славу.*

Тогда я и себе не мог честно в этом признаться.  
Нарисовал дружеский мистический шарж на Лену, точнее на мой заочный миф о ней. Попытался - насильственно, конечно, - создать образ обозримым, неопасным для самосохранения.

*Эта крохотная певчая птишка  
перед жизнью — совсем как букашка.  
Даже и не верится, что чего-нибудь соображает!  
А она — на ветке вертится, прихорашивается, воображает...*

*А то — в паутине запутается:  
- Ой, ой, ой! - пищит. - Отойди, отвратительное насекомое!  
А после дрожит, в старинную шаль кутается  
и — тебе же плешь клюёт!  
(Можно подумать — чудом спасённая.)*

*Но порой между завтраком и паутиною  
заскучает, замается -  
вспорхнёт на лозу лебединую  
и музыкой занимается.*

*Зажмурит ресницы, горлышко вытянет,  
наберёт крови в сердечко  
и — такую арию голосом высвободит -  
жизнь дотла сжорает — как свечка!*

Однажды, через два года, намекнул ей на те переживания и подозрения:

*«...Может быть - это неосторожно с моей стороны, но одно из немногих моих переживаний этого рода связано с Вами. Тогда, в июле 95 года, после*

*Минска, я жил на даче, сочинял стихи, пытался написать Вам письмо. В некоторых живых вещах /новых? ранее незамечаемых?/, окружающих дом, я явственно узнавал Ваше присутствие. Почти физически чувствовал Ваш взгляд. Что это было - объяснить не могу, но это - было...»*

Лена никак не отозвалась на этот абзац, отозвалась на письмо в целом – что совпадения, конечно, не случайны. Там еще про многое было, это я про первую книгу её прозы, про «Определение в дурную погоду» ей написал. Ну, и я как-то успокоился, решил про себя, что Лена ни при чем – сознательно, как минимум, птицы и пауки сами собой завелись, никто их не инструктировал и не отправлял в разведку.

На похоронах – урны с прахом - питерская знакомая сказала: ты понял - вулканическая пыль над Европой? это ведь Лена. А поляки-то, поляки... (В те дни в Исландии рванул вулкан, над полумиром повис пепел и все авиарейсы в Европе отменили. И цвет неба вечерами был пурпурен и лилов, как в начале XX века, как в стихах Блока.

А ушла Лена в тот же день, когда под Смоленском разбился самолет со всем правительством Польши. В «Плавании», написанном десятилетиями ранее, автор переплывает таинственную реку в одной лодке с неизвестными поляками.

Ахматова говаривала – девятьсот четырнадцатый год... сорок первый... это Лермонтов.)

Они возникали и потом, настоящие или метафорические её вестники *оттуда* – но я их более не пугался, был рад им «в печальном своем кураже».

Оттуда, откуда письма не ходят – и куда достигает только молитва.

## *ГОЛОС*

*Звенит синичка в солнечном луче,  
Не отступая в сумрак ни на волос,  
В скрипичном и серебряном ключе.  
И я узнал воскресший голос.*



*Как и тогда, полвечности назад -  
Ещё до встречи — звонко, легкокрыло  
Влетела птица в яблоневый сад  
И о тебе заговорила.*

*Он окружил, твой голос, жизнь мою  
И выбился из смертного предела.  
И я всегда в саду его стою,  
Где б ты ни пряталась, ни пела.*

4.4.10

### *ГОСТЬЯ*

*Вчера мы пировали просто так,  
И радостно обнять было друг друга,  
Вновь обживая кухню и чердак,  
Вернувшись с юга.*

*Свободно пили светлое вино,  
Закусывая хлебом и арбузом,  
И в тишине звучало, как оно  
Угодно музам,*

*За словом слово, с нами пировал  
И рассуждал о свежести и даре  
Вечерний воздух, он озоровал  
И был в ударе.*

*Он говорил о смысле красоты,  
Не стоит придавать тому значенья,  
Что там, где шел поэт, цветут цветы  
Для развлечения.*

*На подоконник луч небесный лёг*

*И по нему к нам в комнату, о чудо,  
Впорхнул и заметался мотылёк,  
Невесть откуда*

*Вдруг на седьмой забравшийся этаж  
По восходящим ветреным потокам,  
Как будто разговор подслушав наш.  
Счастливым слогом,*

*Сгущенным стихотворным веществом  
Приманена, тем, что сейчас во имя  
Её, поэзии, сошлись мы - божеством  
Между двоими*

*Явилась третьей. Можно ль не узнать  
Тебя, чудесная, и в меркнувшем обличье  
Осенней бабочки? Тебя Психея звать.  
Была б ты птичьей*

*И смерти вестницей, то и тогда  
Тебе здесь, неземная, были б рады.  
Распахнуто окно и нет преграды.  
Отпустим белоснежную?  
О да.*

*30.08.11*

Поэзию или «поэзию», совсем лишенную музыкальности – ритма, рифмы, аллитерации, – Лена не признавала. Победа верлибра это смерть поэзии – она говорила и писала.

Набирала влияние поэтическая школа, хранящая формальную - со сдвигом, с синкопой и т.д. – но всё же традицию, верность словесной музыке. При этом ставившая себе тематические запреты – устами и пером своего основоположника. А именно – объявлялся и соблюдался мораторий на

личность в стихах, лицо, биографию, фактические приметы времени, по возможности и на географию. На выражение некоторых чувств, семейных, например, или дружеских, много еще на что.

Лене это было чуждо – любое ограничение свободы. Она утверждала, что без личности, без живой крови – не выйдет ничего. И настаивала, что в тех вещах, которые действительно настоящие, - личность сказывается. А если есть запрет на неё – то вопреки запрету. Всё равно, если поэт мощный, то он выламывается за поставленные самому же себе рамки.

А двух других поэтов этой школы – жалела. И ведь стихи-то бывают вроде прекрасные, а всё же насильственно обескровленные, говорила.

(Добавлю от себя – потому что ограничения на себя берутся добровольно, если есть персональная творческая и духовная в том нужда. А не в порядке школьной коллективной дисциплины.)

*«...Не собираетесь ли Вы в Петербург? Сейчас я езжу на машине, можно было бы покататься...»*

- написала Лена.

Мы покатались один раз на этой машине, зимой. Было холодно, солнечно, высились сугробы, скользко.

Лена – через несколько секунд после старта - на выезде с 5-й

Красноармейской на Измайловский проспект едва не стукнула в бок проезжающий автомобиль, воскликнула и замерла.

Потом тихо-тихо, осторожно доехали до Польского сада, оставили машину на обочине и пошли в усадьбу Державина, на Фонтанке.

То есть покатались метров пятьсот, мне хватило.

И первого, кого встретили на пороге музея, - критика Льва Аннинского, он выходил с компанией.

«Где ж москвичам еще встретиться в Петербурге, как не у Державина!» - увидев меня, громыхнул он.

Представил Лену и Льва Александровича друг другу. Но заговорил с ней не Аннинский, а Есин, ректор Литинститута, он тут же рядом оказался, сколько их?..

Поздравил с премией, что ли, и еще что-то пошептал по секрету. Лена не разобрала, что именно.

Аннинский, кстати (неизвестно к чему кстати), - того же происхождения, что Шварц, прозаик Юрий Трифонов, и я туда же. По матери еврей, по отцу казак.

«Я останусь с мужчинами!..» - закончила дискуссию Елена Шварц.

Беседовали небольшим обществом, втроем.

Иностранка, отчасти обрусевшая, Лена и я.

И завелся сам собой разговор на рутинную (для меня) тему, о феминизме, освобождении женщин, культурном равноправии. Это самый, самый мейнстрим в Европе, среди образованного класса нет несогласных.

Я не участвовал, молчал.

«Нет, мужчины талантливее,» - отмахнулась Лена.

Как так? Женщин тысячелетиями держали при Kinder, Küche, Kirche! Ни образования не давали, ни свободного времени, ничего.

«Образование ни при чем, кого вспомнишь-то? Ну, Маргарита Наваррская, еще несколько...»

Но ведь даже исследования есть, целые институты!..

«Как бы то ни было - я остаюсь с мужчинами!» - отрезала Лена.

И мы с женой рассмеялись от неожиданности.

Неизвестным образом, катастрофическим, если честно, - но для меня на сегодняшний день остались из современников актуальными – духовно актуальными – три старших поэта. Всех троих я встречал, видел, говорил, но не это причина. Причина иная – в их гении, мужестве, нелукавстве и потрясенности.

Каждого из них пронизывал огонь и лёд таланта, превышающий обыкновенную человеческую меру. Угадывался некий удар откровения в прошлом, перекаливший природу, – в уголь, пылающий огнем, в жало мудрости змеи.

Стихи были неровные, если взглянуть на них оком Николая Славянского. Но я внимал крикам, шёпотам, восклицаниям, пророчествам и молитвам. И не обращал внимание на полупустую словесную породу, если она вдруг шла. Даже - в некотором смысле – именно она придавала речи спонтанность и непоправимость.

Тем более – изрядно осталось вещей художественно совершенных.

Вообще те стихотворения, что остались, – из рядные, из ряда вон.  
У Елены Шварц шлака был минимум, исчезающе мало. Но она и была феноменально образованна, искушена, для её внимания мало оставалось «слепых пятен».

Вообще – впервые обратил внимание на неравномерность воплощенности её стихотворений, когда собирал её избранное, перебирал, сравнивал...

Рядом с ними я узнал – живое присутствие поэта потрясает не менее, чем его произведения. А если не встречал его наяву – то можно, прикрыв физические зрение и слух, сосредоточиться – и почувствовать, какого он духа, пространства, спиритуальной родины.

Летом десятого года горела Россия - и они сами встали в одну строку.  
Сами.

Шварц, Чичибабин, Блаженный.

*...Нету покоя в спасенном краю,  
Света, везенья.  
Если один есть в аду – то в раю  
Нету спасенья.*

*Птицы, сгорая, летели на Рим,  
Гнезда не вили.  
Лена, Борис это, Вениамин  
Мне говорили.*

Лена сначала не могла меня назвать по имени, не споткнувшись.  
«Не понимаю, всё время Мишей пытаюсь Вас назвать...»  
Потом её осенило и проблема исчезла.  
«Андрюшей» стала звать.

У Шварц есть несколько произведений «Анпилова». Тот, кто с ней познакомился в 95-м, - умещался в ней некоторой частью своей интонации, отдельными, периферийными для неё, но магистральными для него (для

меня) темами, предметами вдохновения. Новогодняя елка, швейная машинка...

### *МОИ МАШИНКИ*

*Машин нет в смерти ни одной.  
Мне это очень, очень жаль –  
На что мне радость и печаль,  
Когда нет "Оптимы" со мной?*

*Или портной старинный "Зингер" –  
В своем усердии собачьем –  
Все мое детство стрекотавший,  
С отполированным плечом,  
Похожий на мастерового,  
О лучшем не подозревавший,  
Всю жизнь строчивший так смиренно,  
Как бы для худшего рожденный  
И с простодушными глазами,  
Блестящими в прозрачной стали.*

*Без них блаженства мне не надо –  
Без этих кротких и железных  
И нищих духом двух существ.*

1992

### *ПОКУПКА ЁЛКИ*

*Маленькому лесу из 48 ёлок – с печалью*

*В ёлочном загончике я не выбираю,  
Не хожу, прицениваясь, закусив губу.  
Из толпы поверженных за лапу поднимаю,  
Как себя когда-то, как судьбу.*

*Вот её встряхнули, измерили ей рост.  
Вот уже макушкой чертит среди звёзд.  
И пока несу её быстро чрез метель –  
Вся в младенца сонного обернулась ель.*

*И, благоуханную, ставят её в крест,  
И, мерцая, ночью шевелится в темени.  
Сколько в плечи брошено мишуры и звезд,  
Сколько познакомлено золота и зелени!*

1996

Всё равно это Шварц, у меня был несравнимо более смиренный угол зрения на вещи.

Неожиданно ей понравился мой короткий рассказ про хомяка, привел даже в удивительный восторг, а казалось бы от чего уж...

(Через лет двенадцать стало видно, что она за этим почувствовала.)

И даже сама в письме написала нечто вроде короткого рассказа в моем духе:

*«...Я вспомнила это стихотворение Катуллы за день до получения Вашего письма, пытаюсь спасти воробушка /как я думала - оказался, вроде, соловушка/, выпавшего из гнезда. Он валялся под дубом, где я обычно провожу время за чтением, такой пухленький, смешной и сообразительный,- Вы бы его лучше описали, это Ваш герой. Я целый день с ним возилась, сажая его на жердь между дубом и забором, его там нашли родители и приносили ему червячков. А потом он сам вдруг спланировал в какую-то ямочку в заборе и там затих. Тут мимо проходили двое местных знакомых мне пьяниц, один из которых залез на дуб и усадил птенчика не в гнездо, к сожалению, гнезда он не нашел, а на ветку. Птенчик снова сверзился, бедный пьяница опять, рискуя жизнью, залез на дуб и я уже должна была опасаться за него. То есть я старалась опасаться за него. Остался ли птенец жив в результате, я так и не знаю...»*

Вообще – не избегала никаких параллелей, если они были к месту. Не берегла насильственно чистоту памяти, слуха и уст. Если они были чисты от грязи – и от советской чепухи в том числе – то не по соображениям гигиены или из снобизма, а по естественно присущей чистоте.

Рассказ про хомяка сравнила с «Борисом Житковым».

Песню «Дорога в Казанское» с Рубцовым:

*«...чудесны строки*

*...Сколько раз вспомнится церковь в Казанском -*

*Столько раз сердце само и вздохнет...*

*В нем как бы дышит то, что за словами - дорога,*

*простор. Похоже на лучшие стихи Рубцова немного, но это*

*уж у меня такое свойство - замечать на что похоже...»*

А «Концепт», меня поразило, - с Кушнером, который, вроде, кроме иронии, никаких эмоций у неё не вызывал:

*«...а вот первое слегка напоминает кушнеровские стихи - из лучших его...»*

Наверное, легкая улыбка в этих словах тоже есть, самая мягкая из её ироний.

Теперь предстоит рассказать о событиях и драматургических переворотах, которых не ожидал никто и никогда, и – так как придется шагнуть под софиты – надо постараться написать об этом быстро, экономно, сухо.

К 2008 году накопились неопубликованные стихи и я решил издать третью свою книгу – «Игольное ушко».

Вещи были в основном ностальгические, но был и первый раздел, где автор поднимал голос, сжимал кулак.

Я написал Лене:

*«...десять лет назад, когда написал о Вас первую статью,*

*решил для себя, что отныне не имею права ни о чем просить Вас в смысле литературы. Мне почему-то казалось, что это само собой разумеется по*

*неписаным законам поведения в литературе. Но, взглядевшись и сопоставив*



*всё, что вижу и читаю, понял, что ошибся. Нет такого закона и правила.*

*Когда у меня выходила предыдущая книжка стихов, Вы сказали - Почему я предварительно не дал Вам ее посмотреть? "Ведь мы же друзья и в каком-то смысле люди одного цеха."*

*Вам тогда название "Домашние тапочки" не понравилось, но было уже поздно...»*

И Лена написала блестящее предисловие, короткое, точное и бережное. Пруст, детство, в поисках утраченного, но и иное счастье – счастье вдохновения...

Меня предисловие и радовало, и опускало на землю, и глазам было отчего-то грустно на него смотреть, как «на ими брошенное тело».

Начался девятый год, я уехал в зимнюю провинциальную Австрию, в тишину и немоту.

Слабым ручейком потекли стихи, потом скорее. А потом – вдохновение накрыло, как никогда.

Лена откликнулась моментально, радостно, что-то невозможное и прекрасное расцветало в духовном воздухе, я и терялся, и припадал – то к Вышним Силам, то к ней самой. О самой Лене я не помнил, пока писал, я потом бежал к компьютеру, отправлял новые стихи – и ответ её был мгновенен.

Когда получила одним письмом сразу три стихотворения – в том числе «И преступленье, и соблазн...» и «Ефрем Сирий» - написала так:

*«...что с Вами? Даже страшно. Бог посетил. Первое и третье просто потрясающие. Поздравляю...»*

И я ей ответил:

*«...Я не знаю, что со мной, Чувствую покой и волю, больше ничего. Я счастлив услышать от Вас такие слова. Я не смел верить, что это дано будет услышать.*

*Говорю совершенно искренне – если бы не Вы, не Ваша поэзия, Ваш живой пример и взыскательность – этих бы стихов никогда не было...»*

Ни я, ни Лена не понимали ясно причины и внезапности происходящего. Она предполагала бунт, раздирание покровов майи. Мне приходило на ум чуть другое:

*«...Наверное, какого напора вдохновения еще не испытывал, сравнивать не с чем. Я же записал стихи о Сирине и Тростнике в руке Бога. Ну, вот после стихов "Ефрем Сирин", после мольбы "скажи, я повторю" - Некто свыше внял высказыванию. И я, как евангельские рыбаки, в конце концов взмолился, - не надо, Отче, столько рыбы, не заслужил, трепещу, страшуся. И взмолился в последнем стихотворении - "помолчите, стихи". Ну, они чуть притихли, дали оглядеться...»*

Как бы то ни было – на время, на недолгое оставшееся ей время – мы обменялись привычными ролями. Словно то существо, которым я (временно?) стал, внезапно двинулось по натянутой над миром струне, а Лена страховала.

Словно расслабленный встал на ноги, идущий полетел, спящий проснулся. Пробудился тот «спящий египтянин» из её посвящения. В дневнике всего одна фраза обо мне:

*«...Удивительный поворот в жизни Андрея Анпилова, я никогда не думала, что он проснется, и такой взрыв поэтический...»*

А остальное – в письмах, летевших туда и обратно по несколько раз за сутки. Происходящее было чудом, незабываемым. Вроде мертвого и воскресшего дуба Андрея Болконского.

(Дуб-то я и был, и остался. В том числе и тот, под которым Лена книги читала, и с которого птенец свалился.)

Лена не находила аналогов столь позднего второго рождения, вспоминала Георгия Иванова, а больше никто на память не шел.

И весь подтекст, связанный с хомяком, обнажился. Того самого, из рассказа и из детского моего стишка:

*Спасибо тебе, хомячок дорогой,  
За то, что ты весь симпатичный такой...*

Стихи сами вспомнили детскую трагедию:

*...И вот он лежит, кротко лапки сложив,  
Нечайно раздавленный дверью.  
Он, верно, молился мне... В то, что я жив,  
Он верил, он звал. Я – не верю.  
Приспала младенца преступная дочь.  
С тех пор в смерть распахнута дверь.*

Удивительно, что Лена – бесстрашная отчаянная Елена Шварц – писала теперь иногда, что стихи мужественные, но порой мрачные. И радовали её самые простые мои новые песенки «Сказочка», «Пчёлка». (Как меня когда-то трогали больше всего самые простые, земные и нежные её стихотворения.)

*«...песенки тоже преобразенные, новые даже по самому звучанию. Как будто вправду вы как в "сказочке" проснулись...»*

*«...не знаю песенка это или стихотворение, но просто чудесная она (или оно). И такая светлая.  
Я, правда, устала. Я давно устала, и это вот именно одна из опасностей - вдохновение забирает незаметно жизнь и кровь. Верней, передает, переливает их во что-то. Мед поэзии - вот и пчелка. Но и все равно это самое большое счастье...»*

Потом я попробовал изложить хронику произошедшего, на скорую руку:

## *ДВА ДАРА*

*К пятидесяти двум годам накопилась критическая масса стихотворных текстов — устоялась личная их мифология, манера говорения и взгляда на*

*вещи. И их инерция, конечно. Собственно, оставалось что-то достроить по углам, — и дом к сдаче был бы готов.*

*Я нисколько не отрицаю сделанное до 2009 года, это было бы поверхностно и неблагодарно, неблагодарно к вдохновению в первую очередь, которое, если неподдельно, не принадлежит времени.*

*Тем более, что на нескольких (пальцев не хватит) вещах лежит брошенный из будущего свет.*

*Зимой девятого года что-то произошло, что-то невозможное (учитывая возраст и стаж), чудесное.*

*Те таинственные, неизменно влекущие области, которые ранее могли быть описаны, и бывали описуемы, в эссеистике и критике, то есть косвенно и извне, — стали сами раскрываться в стихотворениях. Растаяли стены «душевности», непроницаемое стало проницаемо. То, о чем ранее немотствовали уста, — облеклось в речь не описательную.*

*Я смею полагать, что некоторая, НЕКОТОРАЯ, часть стихов этих двух лет, — имеет отношение к переживаемому наяву, ещё при жизни, страшному суду. К новому рождению, судорогам воскресения. К тому мигу, когда плотское и душевное ужасается, а дух ликует. Если он, хоть иногда, пронизан тем, что можно назвать любовью.*

<.....>

*В сущности, поэтом я считаю того, кому вручено два дара. Дар слова (меры или безмерности, не важно, сюда же интуиция и несколько особый, «поэтический ум») и дар, который присущ каждому растению. Дар, поглощая углекислый газ, вырабатывать вовне кислород. Или же — подобно грозовому разряду — некий таинственный фермент, что-то вроде «духовного озона».*

9.11.10

Как бы то ни было – тем, что со мною произошло, была подтверждена теория Елены Шварц.

*«Все те поэты, кто знал меня, написали свои лучшие стихи тогда, когда близко дружили со мной, тесно общались...»*

Может быть, это и случайность, совпадение, - но я был счастлив, что она это застала и была рядом, хоть и далеко.

Не посрамил. Вроде Венички, который подтвердил догадку черноусого.

Одновременно – отчасти опроверг другую теорию Лены, что всё дается сразу или никогда. Кажется, она была и этому рада. (Хотя всё равно говорила, что всё и так чувствовалось всегда – только было не полностью разбужено.)

Я понял степень её воодушевления потом, когда стал встречать тех, с кем Лена общалась в те дни. Взгляд их на меня был внимателен и любопытен, как на диковинку. Она, оказывается, читала им мои стихи, рассказывала.

Всё сбылось. И «одиночества испробуй суп вчерашний». И облако немоты вокруг, и заговор молчания, и я физически чувствовал, что порой меня избегают ранее близкие люди, им не по себе в присутствии меня и новых стихотворений. (Как и меня два раза отталкивало от Лены.)

И однажды случился – впервые в жизни – пожар. «Бог посетил» - как говорят в народе.

И несколько раз, вдруг заметил, - некоторых поэтов в следующие дни после встречи со мной внезапно поражало вдохновение.

И появились новые люди – те, кого притянуло магнитом.

*«...перед самым выходом из больницы меня вдруг охватило сильное вдохновение и я выбегала из палаты и записывала стихотворение. Вот Вам посылаю.*

*Так что теперь я дома по крайней мере до 23 ноября.*

*<.....>*

## *ВОСПОМИНАНИЕ О РЕАНИМАЦИИ С ВИДОМ НА НЕВЫ ТЕЧЕНЬЕ*

*На том берегу мы когда-то жили...  
(Отчуждайся, прошлая, отчуждайся, жизнь)  
Я смотрю в Невы борцовские прожилы  
И на угольные угринные баржи.*

*Я у окна лежала и внезапно  
Взяла каталку сильная вода  
Я в ней как будто Ромул утопала,  
А вместо Рема ерзала беда.*

*И влекло меня и крутило  
У моста на Фонтанке и Мойке  
Выходите встречать, египтянки,  
Наклоняйтесь ко мне, портомойки!*

*К какому-нибудь берегу принесет  
И руки нежные откинут одеяльце  
И зеркало к губам мне поднесут  
И в нем я нового увижу постояльца.*

*2 ноября»*

Девятого ноября девятого года я был на «Кинфии» в БДТ, потом приехал вечером к ней домой.

Лена выглядела внутренне омытой – тонкая, бледная, с чистым прямым взглядом. Двигалась чуть медленнее обычного, после операции и терапии. Казалось, худшее позади, что после страданий наступает, наступил катарсис. Пришла Елена Попова, красивая актриса, яркая и талантливая. На балерину похожа. Про Пушкина писали – когда он смеется, как будто кишки видно. Вот Елена такая же – выражается всей собой, видна насквозь.

Потом еще раз встретились, на следующий день, вдвоем.

Тихо дошли до какого-то недалекого дома, было пасмурно, сыро. Лена захотела показать квартиру местного ясновидца, с которым встречалась недавно.

Поднялись по полуразрушенной лестнице и Лена, не собираясь, вроде, того делать, нажала кнопку звонка.

Выглянула пожилая женщина, спросила «кто», удалилась вглубь квартиры, возник такой обыкновенный человек, на бурята чуть похож, на постаревшего драматурга Вампилова.

И прямо в прихожей похвалил Лену, что дела её идут к улучшению, что яму он больше не видит – Лена её «забросала камнями» – а над правым плечом чувствует не Дину Морисовну, а ангела.

Попросил меня прикоснуться к этому пространству – я потрогал, руке стало тепло.

А потом пригляделся и вдруг сказал, что он меня знает, недавно по телевизору видел. Да что ж Вы такое смотрите? Только канал «Шансон».

А-а-а... Значит, это был я, извините, конечно...

На всем был налет легкого абсурда, но не тяжести, нет.

*Мы рядом пошли неизвестно куда  
По мглистой дороге невзрачной,  
И зыбился воздух, как в склянке вода,  
Направо, где профиль белел вполследа,  
Чуть видимый, полупрозрачный.*

*Томился, подошвой раздавленный, снег,  
Шаги говорили, как «вещий олег»,  
Неровным и тёмным размером.  
Нас вечера плащ с головою облек  
Обоих, подобно химерам.*

*- Скажи мне, кудесник, - сегодня ужель? -  
Проник сквозь дверную отверстие щель  
Твой голос, тоской оперённый.*

*Я чувствовал: ангел - с крылатым мечом*

*Молитвы — хранитель парит над плечом,  
Над смертною ямкой ярёмной.*

2.12.09

*«...совершенно прекрасное стихотворение, завораживающее и в одной строке слегка смешное - скажи мне, кудесник. И адекватное, грубо говоря. Спасибо...»*

Написалось само собой «твой голос» вместо «Ваш», а Лена, если и заметила это, никак не возразила.

В тот вечер она как бы между прочим сообщила несколько вещей, о которых мне не приходило в голову спрашивать – никогда и ни за что. Этого не было у нас в заводе, откровенности на такие темы.

О личной жизни, о женском сказала.

Еще вот что. Что сейчас при ней остается один грех - злоязычия, последний, остальные её не мучают. Но и от него она надеется освободиться.

Я не знаю, зачем она это мне говорила. Может быть, положила до востребования - как в почтовый ящик письмо.

Вот оно, что ж...

*«...Дорогая Лена, я увидел Вас с чувством радости (и цитируя Горбовского тоже). Не увидел в Вас того, что в первый Ваш визит увидел в Вас целитель К...в и что он не увидел во второй. Мне оба дня было рядом с Вами очень легко, а это удивительно - мне рядом с больным человеком всегда непросто, мягко говоря. Как-будто это я болен - и я тянусь к здоровой Вам - вот как было.*

*И вернулся я домой - другим. Что-то замаячило, просветлело...»*

О Горбовском мне Лена рассказывала то же, что и в дневнике записала:

*«...Позавчера Горбовский, с которым мы едва знакомы, ходил взад и вперед по участку. Я обратилась к нему с неожиданной просьбой назвать первое*



*пришедшее в голову слово – как предзнаменование. Он удивился, возвел глаза в небо и сказал - радость...»*

В последнюю земную встречу Елена Шварц была вот такая – молниеносный росчерк, ровно мерцающее в сумерках узкое лезвие. И были в ней – острые легкость, нежность и печаль.

Такая - как её январские стихи:

### *МОРОЗНАЯ НОЧЬ*

*Один лишь чертеж,  
Только замысел созвездия Ориона -  
Доказательство Божьего бытия.  
И другого не надо. Наглядно и строго.  
Если б волки завьли на восходящего Бога,  
Принялась с ними выть бы и я.  
Если б волки завьли,  
Если б птицы запели,  
Я б подпела им в тон,  
Глядя как по невидимой цели  
Сквозь серебристые ели  
Бьет трехглазой стрелой Орион.*

Отныне три звезды Ориона навечно выбиты на её гербе.

*«...с удивлением обнаружила, что Вы с Леной Поповой родились в один день и год. Странно, правда? может, и в один час...»*

В самые последние минуты рядом с ней были Кирилл Козырев и Лена Попова. Читали по очереди Псалтырь.

И мне кажется – что чуть-чуть и я там был. Совсем немногим своим – временем своего рождения.

Этот текст не будет завершен, как не завершено еще ничего. Никому не известно, на какую звезду улетел принц, где разбойничает теперь маленькая

разбойница. Лена жива, ласточка унесла её в Италию, под вечное нежаркое солнце и в прохладную тень пиний.

Протяну ладонь – и тепло.

Прислушаюсь – звенит.

В этом повествовании всё есть. Как в Александре Пушкине и в стихотворениях Елены Шварц.

А если что-то отсутствует, то это впишет туда моя рука, или другая, чужая.

Или сама Лена.

Или время и Бог.

Точки не будет

8.02.13